

ко столь широкая трактовка данного явления выглядит далеко не бесспорной и недостаточно обоснованной.

Как отмечает в предисловии Г.С. Кан, в 2011 г. Пелевин «почти дословно повторил (и несколько расширил) сказанное некогда Л.А. Тихомировым о террористах», констатировав: «Когда у народа достаточно сил и энергии провести прогрессивные преобразования, революционеры излишни, когда же таковые условия отсутствуют, то революционеры бесполезны» (I, с. 12). Но вряд ли удастся понять, как появляются те или иные элементы политического спектра, если воспринимать их как «лишние». На практике они зачастую дополняют друг друга в определённом историческом контексте. В мировой истории наличие радикалов влияло на готовность правящих элит осуществлять масштабные политические и социально-экономические преобразования в интересах широких слоёв населения. Можно по-разному судить о том, насколько «прогрессивны» или «бесполезны» были революционеры, но они, наряду с более умеренными социалистами и либералами, сыграли весьма заметную роль в формировании политических предпочтений населения Российской империи. Репрессии создавали им ореол мучеников, а революционная героика помогала подпольщикам пополнять свои ряды и продолжать борьбу с самодержавием на новой идеологической основе. И лишь с учётом всех этих аспектов возможно постичь значение деятельности Михайлова и его единомышленников.

Действительно, каким бы хилым, жалким, слабым и беспомощным существом ни казался грудной ребёнок, у него есть потенциал, и первые неуваженные, неудачные движения свидетельствуют именно о развитии, а вовсе не о деградации и упадке. Так и любое общественно-политическое движение первоначально может казаться чем-то крайне нелепым, пока не наберёт силу. Не следует забывать, что многие революционеры, начинавшие свой путь в 1870-е гг., впоследствии проявили себя и в социал-демократическом (П.Б. Аксельрод, О.В. Аптекман, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов), и в неонародническом (Е.К. Брешко-Брешковская, П.С. Ивановская, М.А. Натансон, Н.С. Русанов, Н.С. Тютчев, В.Н. Фигнер, Н.В. Чайковский и др.), и в анархистском (П.А. Кропоткин, В.Н. Черкезов) движениях. И в новых реалиях они не раз обращались к урокам и разочарованиям молодости.

Книга Ю.А. Пелевина, несомненно, принадлежит к числу тех исследований, без которых уже невозможно обойтись, изучая политическую историю пореформенной России. Даже полемизируя с ним, нельзя не испытывать глубокую благодарность учёному, безвременно ушедшему из жизни за рабочим столом и до последней минуты создававшему этот труд.

### **Андрей Мамонов: Власть и революционеры 1870-х гг.**

*Andrey Mamontov (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow): Power and revolutionaries of the 1870s*

DOI: 10.7868/S3034579025060106

История революционного движения в России по-прежнему остаётся одной из наиболее идеологизированных тем. У истоков её изучения стояли те, кто прошёл по молодости через увлечение радикальными доктринаами, или, наоборот, вёл борьбу с подпольными кружками и партиями. В советское время, при

всей неоднозначности (если не враждебности) отношения победивших марксистов к народничеству вообще и народовольчеству в особенности, каждый, кого хотя бы с натяжкой удавалось вписать в «пламенные революционеры», попадал в пантеон героев, приближавших установление новой власти. Революция, являвшаяся не только переломным (во всех смыслах) событием прошлого, но и ключевым, длящимся и повторяющимся, мифом коммунистического режима, изображалась как абсолютное благо, деятельное стремление к которому искупало любые грехи и оправдывало всякие средства. Неудивительно, что дискредитация и развенчание этого культа породили его зеркальное отражение, и теперь уже все бунтовщики скопом объявлялись «бесами» или пособниками не менее инфернальных «внешних сил». Все эти предрассудки и представления со временем не только сталкивались, но и перемешивались, образуя довольно рыхлое, противоречивое и эклектичное историографическое пространство.

В целом, в нём отчётливо видны «полярные» парадигмы, давно сложившиеся, выдержавшие проверку временем и определяющие незримую «рамку» для оценочных суждений и интеллектуальных поисков. Одна из них восходит к Н.М. Карамзину и его восприятию судьбы России как *истории государства* по преимуществу или даже исключительно. При мало-мальски последовательном размышлении этот подход рано или поздно непременно приводит к признанию известной формулы, согласно которой «Россия основалась победами и единоначастием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием», составляющим для неё «палладиум», так как «целость его необходима для её счастья»<sup>1</sup>. От переименования «самодержавия» в «суверенитет» мало что меняется, к тому же и персонификация суверенитета (свидетельствующая о потребности в личности и отвращении от «безликого») с годами и десятилетиями отнюдь не уменьшалась, несмотря на все постановления съездов и конституционные заклинания.

Другая, не менее прочная, буквально въевшаяся в русское самосознание, традиция связана с развитием идей, наиболее ярко и рельефно сформулированных А.И. Герценом, видевшим основное содержание и смысл отечественной истории именно в сопротивлении насилию, присущему всякой власти по самой её природе, в конечном счёте — в *противостоянии существующему государству и борьбе с ним*, включая всевозможные формы бегства от него<sup>2</sup>. И тут даже не важно, что именно противопоставлялось Левиафану и служило залогом истинной свободы — скит, общинная утопия, эстетская самодостаточность, морализирующее «толстовство» или экзистенциальное одиночество.

Разумеется, у Карамзина и Герцена эти парадигмы, интенциально существовавшие и до них, и помимо них, нашли лишь предельно резкое и точное до афористичности выражение. Черты же, указывающие на принадлежность (осознанную или бессознательную) к одной из них, можно обнаружить едва ли не в каждом научном или публицистическом тексте, касающемся России и её прошлого. Конечно, наличие «полюсов» предполагает и линию «экватора». Так, обе «интенции» русской истории органично сочетались у А.С. Пушкина (недаром он «наше всё»), оставившего «Стансы» и «Из Пиндемонти», написавшего «Историю Пугачёва» и взявшегося за «Историю Петра». По-своему

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. О древней и новой России в её политическом и гражданском отношении // Карамзин Н.М. Избранные труды / Сост. А.Ю. Старостин и А.А. Ширинянц. М., 2010. С. 234, 344–345.

<sup>2</sup> Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 7. М., 1956. С. 9–263.

соединить «государство и революцию» пыталась по меньшей мере с 1930-х гг. и советская историография, но это лишь придавало её конструкциям вид некоего «Тяни-Толкая», столь же сказочного, сколь и нежизнеспособного.

Так или иначе, существование обеих парадигм, карамзинистской и герценовской, то полемически «острое», то эклектически «мирное», а чаще попросту «сонное», продолжается до сих пор. Каждая из них не чужда умозрительной условности и схематизма, упрощающего (и тем самым искажающего) сложность исторических реалий. Поэтому критическое переосмысление как «государственных», так и «революционно-освободительных» стереотипов и увлечений совершенно необходимо, независимо от того, какая бы традиция ни вдохновляла исследователя.

Собственно чем-то подобным в последние годы жизни и занимался Ю.А. Пелевин. Давалось это ему, похоже, крайне тяжело и получалось не всегда успешно, поскольку слишком многое приходилось преодолевать, не отрекаясь и не подчиняясь одновременно. В его творчестве безусловно сказывалось наследие школы М.Г. Седова<sup>3</sup>. Семинар, которым Седов многие годы руководил в университете, представлял собой один из центров не просто изучения, но и откровенной апологетики и героизации народничества. Профессор это особо и не скрывал. Дистанция между исследователем и изучаемыми сюжетами, по сути, стиралась напрочь, что с энтузиазмом воспринималось окружающими<sup>4</sup>. Поскольку Седов одновременно противопоставлял себя как «буржуазной» историографии (в приверженности которой охотно уличал коллег по кафедре), так и мертвичине марксистско-ленинской схоластики, его демонстративно пристрастное, и уже потому *живое* отношение к истории и её деятелям не отталкивало, а, наоборот, очаровывало и притягивало учеников. На рубеже 1970–1980-х гг. Пелевин был одной из звёзд седовского семинара и горячо защищал в своём докладе С.Г. Нечаева<sup>5</sup>. В позднейших, гораздо более трезвых и часто неподкупных отзывах Юрия Александровича о народниках отчётливо чувствовался спор с учителем и с иллюзиями ушедшей молодости. Тем более странно, что в подготовленных им главах монографии Седов не упоминается вовсе.

Пожалуй, ещё более сложным было уважительное и вместе с тем ревнивое отношение Пелевина к работам Н.А. Троицкого, который, будучи крупнейшим знатоком народничества и архивных материалов, отражающих «подвиги» революционеров, довёл до предела и чуть ли не до гротеска восхваление «крестоносцев социализма» и прочих «народолюбцев и тираноборцев», не уставая изо всех сил клеймить «каратель», «победное гульбище реакции» и т.д., и т.п.<sup>6</sup> Характеристики, интерпретации, оценки Пелевина и даже сам его подчёркнуто объективистский стиль во многом были заострены против того, о чём так хлёстко писал саратовский «титан», легко переходивший от гимна к брани<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Подробнее о ней см.: «Будущего нет и не может быть без наук...» (Памяти профессора Московского университета Михаила Герасимовича Седова). М., 2005.

<sup>4</sup> Характерно, что на могильном памятнике учёный, родившийся в 1912 г. и скончавшийся в 1991 г., был обозначен как «историк-народоволец» (Седов Ю.М. Воспоминания об отце // Там же. С. 297).

<sup>5</sup> Аникин А.Г. Воспоминания об учителе // Там же. С. 457–458.

<sup>6</sup> См., в частности: Троицкий Н.А. Лекции по русской истории XIX века. Краткий курс. Саратов, 1994. С. 165–188; Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма.

<sup>7</sup> Это хорошо заметно, в частности, при описании «хождения в народ» (I, с. 18–169) и в главе «Судьба Николая Клеточникова» (II, с. 210–248).

И всё же, как и в случае с Седовым, это была дискуссия талантливых людей, разделявших общие симпатии и антипатии и до конца сохранявших верность герценовской парадигме.

Формально Пелевин пытался выйти за её рамки и в статье-прелюдии «Казус Засулич» решительно заявил: «Здесь я не собираюсь выступать адвокатом ни одного из дьяволов — оправдывать правительственный или революционный лагерь». Считая, что «неправомочны и те, и другие», он утверждал, будто «в стране отсутствовали правовые механизмы, которые регулировали бы отношения личности и государства» (II, с. 91). Однако они очевидным образом существовали, иначе никакого суда над той же Засулич не состоялось бы вовсе. Другое дело, что они были не такими, как хотелось бы автору книги. Более того, всякие «механизмы» дают сбои и приводятся в движение не автоматически, а по воле людей. Наконец, никакое «право», регулирующее взаимодействие разных лиц и учреждений, не может стоять над суверенным государством как таковым, которое, собственно, и устанавливает, меняет и обеспечивает все юридические нормы или же, если признаёт целесообразным, вводит чрезвычайное положение, приостанавливая действие обычных законов. Пелевин пишет, что «насилие невозможно победить насилием, ибо суть его остаётся прежней» (II, с. 91). Но это означает лишь невозможность полностью *устранить* силу и её применение из жизни, сделав всё живое совершенно немощным. В сущности же, государство, отказываясь от организованного насилия, т.е. от власти, перестало бы быть государством (и вскоре бы исчезло, уступив место другим), а революционеры, исповедующие непротивление, уже не являлись бы революционерами.

Впрочем, даже если Пелевин и хотел занять позицию Меркуцио (твёрдя: «Чума на оба ваши дома»), долго он на ней не удержался, выдавая себя отдельными эпитетами и выражениями, разбросанными по всему тексту. Так, в обычайках, возмущённых убийством шефа жандармов Н.В. Мезенцова, автор видит «начальстволюбцев» (II, с. 148), а письмо, разоблачившее соучастников данного преступления, воспринимается им как «злополучное» (II, с. 181), о показаниях раскаявшегося А.Ф. Михайлова говорится как о «печальных откровениях» (II, с. 199), и т.д. Поэтому догадаться о том, какой именно стороне сочувствует внешне нейтральный историк, совсем не трудно.

Приведённые в книге свидетельства недвусмысленно указывают на то, что для создателей «Земли и воли», по словам М.Р. Попова, «необходимость... борьбы с поработившим народ правительством стояла вне сомнения» (I, с. 238). Так или иначе программа землевольцев изначально подразумевала «уничтожение верховной государственной власти с заменой её федеративным устройством, основанным на вольном сотрудничестве сельских и городских сообществ» (I, с. 304). Более того, «с уничтожением Российской империи в соответствии с бакунинским принципом федерализма намечалось её разделение на части, что относилось в первую очередь к Малороссии, Польше, Кавказу, а также утверждалась веротерпимость и полнейшая религиозная свобода» (I, с. 307). Как рассказывала В.Н. Фигнер, в конце 1876 г. народники толковали на «сходках» о том, что «никакому восстанию не будет обеспечен успех, если часть революционных сил не будет направлена на борьбу с правительством и подготовление такого удара в центре в момент восстания в провинции, который привёл бы государственный механизм в замешательство, в расстройство и тем дал бы возможность народному движению окрепнуть и разрастись» (I, с. 251).

Удивительно, но ни пожилая мемуаристка, ни современный учёный не сочли нужным отметить, что подобные планы обсуждались в тот момент, когда в стране проводилась первая в её истории мобилизация, а Россия находилась накануне войны с турками, которая легко могла обернуться столкновением не только с Османской империей, но и с великими державами. Грань между подпольной деятельностью и изменой, как всегда, оказывалась зыбкой.

Собственно и А.Д. Михайлов в показаниях на следствии 21 декабря 1880 г. не скрывал, что вся «русская социалистическая партия ставит своей задачей... разрушение существующего государственного монархического строя»<sup>8</sup>. Пелевин не отрицает, что убийство землевольцами Мезенцова «стало наступлением из подполья на весь самодержавный строй России» (II, с. 177). Однако тут же пространно и без каких-либо оговорок излагает мнение Д.А. Клеменца, который писал, оправдывая убийство безоружного шефа жандармов, прогуливавшегося по центру города: «Мы нисколько не намерены следовать принципам рыцарства в борьбе с нашими врагами. Война объявлена — притом не нами. Враги сами вторглись в наши мирные обители, сами начали травить нас... По-пранию же личной свободы и достоинства человека — всегда величайшее из зол и тягчайшее из преступлений. Значит, мы ещё более имеем право поднять оружие на наших врагов» (II, с. 160). Так кто же на кого напал? Очевидно, что самодержавный строй, исключавший какую-либо политическую деятельность подданных, сложился в России задолго до возникновения народнических кружков и появления сверхчувствительной к своему «достоинству» молодёжи 1860—1870-х гг.

Характеризуя «истоки» пресловутого «хождения в народ», участники которого, как правило, «были в возрасте от 21 до 25 лет», Пелевин утверждал: «Силу и своеобразие их движению придавало обособление новой генерации от остального общества. Молодые люди собирались действовать без помощи старшего поколения, склонного, как они считали, к компромиссам и слабовольного. Потому они готовы были самостоятельно решать все наболевшие социально-политические вопросы, возложив на себя задачу и подвиг обновления русского мира» (I, с. 19). Однако подобное обобщение возводит напраслину на молодёжь пореформенных десятилетий. Всё же в пропагандисты и подпольщики попадала её ничтожная часть, тогда как подавляющее большинство прошедших в те годы через гимназии и университеты (не говоря уже про всех остальных) занимались созидательным трудом на самых разных поприщах, не исключая и охранение режима. В середине 1870-х гг. гораздо больше молодых людей участвовало в покорении Туркестана, замерзало на Шипке и штурмовало Карс, поступало на государственную службу или в компании, строившие железные дороги и т.п., нежели бродяжничало по стране, призывая к бунтам, взрывало поезда и убивало тех, кому по должности надлежало пресекать подобные выплески «личной свободы». К примеру, Г.А. Мин и А.Д. Михайлов родились в 1855 г., однако Георгий Александрович (окончивший 1-ю Петербургскую классическую гимназию на три года раньше своего сверстника!), подавляя в 1905 г. мятеж, принёс России больше пользы, чем все михайловы, коноплянники и зунделевичи вместе взятые.

То, что в революцию шла не вся учащаяся молодёжь, а лишь её маргинализированное (независимо от социального происхождения) меньшинство,

<sup>8</sup> Прибылева-Корба А.Н., Фигнер В.Н. Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. С. 89, 91.

Пелевин превосходно показал на примере А.Д. Михайлова. Избалованный родительской заботой дворянский мальчик еле-еле окончил гимназию, где вместо древних языков изучал нелегальную литературу и создавал кружки, в которых дети собирались учить крестьян вести сельское хозяйство (I, с. 184–185). Видимо, это привело его на химическое отделение Технологического института, где под руководством И.А. Вышнеградского преподавали тогда Д.И. Менделеев, Ф.Ф. Бейльштейн, А.Р. Шуляченко, Н.П. Петров и др. Однако учиться там будущий «генерал от конспирации» то ли не захотел, то ли не смог. В книге об этом сказано как-то глухо. Ясно только, что несостоявшийся химик «жил в коммуне» со студентами Медико-хирургической академии и с интересом читал нелегальные брошюры о том, как жандармы преследуют социалистов (I, с. 187–198).

Но сам Александр Дмитриевич оставил изумительное описание своего кратковременного студенчества, которое Пелевин почему-то предпочёл не цитировать, а бегло пересказать: «При поступлении нам было объявлено о введении с первого курса обязательных репетиций, но что это такое, мы тогда ещё не представляли себе ясно. Нововведение это, оказалось, состояло вот в чём. Всякий слушатель обязан был ежедневно на лекциях. Несколько раз в день надзиратели проверяют принадлежащую каждому вешалку и, по отсутствии одежды, отмечают не бывших на лекциях. Через день по два часа назначены репетиции из различных предметов, в продолжение которых профессор спрашивает слушателей из пройденного и ставит отметки, оценивающие ответы. Не бывшим на репетиции слушателям ставится нуль. Такие порядки удивили и опечалили почти всех. Выходило не лучше, а гораздо хуже гимназии. Даже со стороны утомительности институт перешёголял гимназию: обязательность посещений заставляла проводить пять–шесть часов без отдыху и еды и большею частью времени за предметами высшей математики, требующими напряжённого внимания. Свободных занятий не существовало. Что сегодня профессор сообщил, то завтра слушатели обязаны приготовить и быть готовыми отвечать. Я чувствовал, что мои надежды и ожидания не сбылись, что я здесь не найду искомого. Предметы чистой и прикладной математики не удовлетворяли возбуждённых вопросов, а между тем поглощали почти всё время и силы». Поскольку юноша «вообще институтом не дорожил», репетиции не посещал и после студенческих волнений отказался дать подписку о подчинении правилам<sup>9</sup>, его через несколько месяцев выслали к родителям под надзор полиции (I, с. 198–199).

Как ни странно, самоуверенные и зачастую эмоционально неустойчивые недоучки, желавшие решать проблемы «космического масштаба», будучи неспособными одолеть институтскую программу или пройти университетский курс, всерьёз полагали, что им могут позволить беспрепятственно обустраивать Россию по своему вкусу и усмотрению. Л.А. Тихомиров, уже став монархистом, заявлял, что тот же «Михайлов мог бы, при иной обстановке, быть великим министром, мог бы совершить великие дела для своей родины»<sup>10</sup>. Вот только Лев Александрович, никогда нигде не служивший и даже в подполье, при всём своём уме и литературном таланте, считавшийся совершенно негодным для практической деятельности, едва ли что-либо знал об обязанностях министров

<sup>9</sup> Там же. С. 85, 87.

<sup>10</sup> Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927. С. 94.

или хотя бы столоначальников. За исключением, конечно, того, что им подобает творить «великие дела». Неудивительно, что руководимая А.Д. Михайловым «боевая подпольная организация», по словам Пелевина, «планировала кардинальную ломку государственных, социополитических и экономических основ российского общества» (I, с. 325).

Собственно, инфантилизм революционеров 1870-х гг. был настолько велик, что трудно определить черту, за которой он переходил уже в наивный и бессознательный имморализм. Фигнер без тени смущения припоминала, как именно народники осенью 1876 г. собирались «разбить веру в царя»: «Одним из средств для достижения этой цели может служить систематическая организация ходоков от волостей, уездов и целых губерний к царю с изложением народных нужд и желаний. Судьба подобных членов известна: одни ссылаются в далёкие губернии, другие повергаются аресту, третья возвращаются на родину по этапу. Горький опыт покажет народу, что ждать от царя нечего и что приходится надеяться лишь на свои силы в деле добывания лучшего будущего» (I, с. 250). Революционерка, видимо, не сомневалась, что если уж она готова жертвовать собой ради полюбившейся фантазии, то «систематически организовывать» крупные неприятности каким-то неведомым «ходокам» для общего блага — очень перспективно и вполне приемлемо. Скорее всего, она была уверена, что «народ», просвещённый таким остроумным способом, будет ей и её товарищам весьма признателен за «науку». На деле нечто подобное воплотилось в «Чигиринский заговор», когда революционеры при помощи обмана и подлога втянули почти тысячу крестьян в «тайную дружину», которая будто бы по воле царя, переданной его строго засекреченными эмиссарами, должна была осенью 1877 г. поднять мятеж на Украине. В условиях военного времени, при малочисленности войск в регионе подавление бесмысленных беспорядков могло обернуться массовыми жертвами. Тем не менее у властей (и прежде всего — у киевского генерал-губернатора М.И. Черткова, нередко изображаемого современниками и историками недалёким самодуром) хватило такта после случайного разоблачения этой авантюры и бегства из-под ареста зачинщиков-революционеров наказать, и то крайне мягко, лишь пятерых из самых активных и наивных пособников (I, с. 205–235).

Жестокость самодержавия по отношению к его врагам в историографии вообще часто преувеличивается, дабы вызвать сочувствие к жертвам. В частности, это относится и к условиям содержания в тюрьмах. С одной стороны, конечно, нельзя не согласиться с Седовым, на личном опыте убедившимся в 1940–1950-е гг. в том, что «хорошей тюрьмы не бывает»<sup>11</sup>. С другой стороны, не стоит безоговорочно полагаться на эмоционально окрашенные рассказы мемуаристов. Тюремная система империи и впрямь не была подготовлена к массовому наплыvu арестантов во второй половине 1870-х гг. ни технически, ни организационно. Не хватало, по сути, всего: помещений, зданий, людей, структур, профессионального опыта, видения перспективы. Перегрузка системы и служащих, на которых она держалась, естественно сказывалась на условиях содержания заключённых.

Но изумляет не то, что те или иные порядки представлялись арестантам не менее бесчеловечными, чем профессорские требования в Технологическом

<sup>11</sup> Чемерисская М.И. Воспоминания об учителе // «Будущего нет и не может быть без наук...»... С. 440.

институте, а то, как им позволяли устраивать коллективные протесты и голодовки, нарушать тюремный режим, пытаться навязывать администрации собственные представления о границах дозволенного и т.п. Когда сидельцы начинали крушить камеры, тюремщики их избивали, что, само собой, не соответствовало никаким инструкциям и нормам. А что же им ещё оставалось, чтобы угомонить десятки разбушевавшихся людей? Обнять и плакать? Ввести в Доме предварительного заключения камерное самоуправление? Впрочем, избиения имели лишь краткосрочный эффект. О них тут же узнавали родные и знакомые на воле; начинались жалобы и прошения разным сердобольным влиятельным лицам, которые не несли персональной ответственности за положение дел и охотно сочувствовали и ходатайствовали<sup>12</sup>.

Причём если на словах представители власти демонстрировали решительность и строгость, то на деле старались избегать обострения. Так, Мезенцов, будучи ещё товарищем шефа жандармов, в 1875 г. возмущался тем, что во время уличных беспорядков в Петербурге, когда толпа начала выражать симпатии «долгушинцам» при совершении над ними гражданской казни, «взяли 13 из 500, которые столько же виновны, как и 13». Николай Владимирович резонно заключал: «Великодушие в революциях немыслимо. Правительство имеет право на самозащиту, оно не обязано щадить тех, кто и его не пощадит» (II, с. 137–138).

В начале 1878 г. генералу не без оснований приписывали ухудшение участия народников, проходивших по «процессу 193-х». Террористы даже ссылались на это, оправдывая его убийство (II, с. 135–137). В чём же выразилось вмешательство? Речь шла о 50 «бунтарях» и «пропагандистах», вину которых сенаторы сочли не доказанной (как правило, её успешно устанавливали позднее историки революционного движения) или незначительной и позволяющей вменить им в наказание содержание под стражей во время следствия. Из них 30 человек шеф жандармов рекомендовал императору отправить под надзор полиции «на месте жительства» (за исключением столиц, их окрестностей и Таврической губ. с её крымскими резиденциями), «на попечение отца», «к родителям», «в имение сестры» и т.п. Среди них были и будущие террористы Н.А. Морозов и Тихомиров. Австрийского подданного А.А. Франжоли, который в 1881 г. примет участие в подготовке цареубийства, надлежало «выслать за границу, с воспрещением возврата в Россию». Ф.В. Волховского следовало «ввиду крайней болезненности его состояния поселить в южной части Тобольской губернии». «Чайковца» А.К. Артамонова, который дерзко отказывался отвечать на вопросы суда, «предназначалось выслать на родину под надзор, по ходатайству престарелого отца предположено было оставить в С.-Петербурге под надзором для окончания наук» (однако вскоре самим жандармам пришлось удалить его из города). И только 13 человек должны были отправиться в «северо-восточные» или просто «отдалённые» губернии европейской части России. Ещё троих к тому времени уже выдворили в Вологодскую губ. за участие в антиправительственных демонстрациях практически сразу после освобождения<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Пожалуй, самый известный эпизод подобного рода произошёл в связи с «боголюбовской историей», подробно описанной Пелевиным (II, с. 7–14).

<sup>13</sup> «Предположения III отделения Собственной его императорского величества канцелярии по поводу приговора Особого присутствия Сената» см.: Финал процесса 193 / Публ. Ш. Левина // Красный архив. 1928. № 5. С. 189–191.

Так выглядела патриархальная мезенцовская «беспощадность»: генерал, переживший летом 1855 г. первый штурм Севастополя и сражение на Чёрной речке, явно надеялся на то, что родители лучше, чем кто-либо, смогут уберечь своих легкомысленных детушек от дальнейших столкновений с государственной машиной. Даже после оправдания Засулич Мезенцов в апреле 1878 г. думал преимущественно про «усиление и систематизирование административной высылки» (II, с. 79). Через три с половиной месяца его зарезали.

Одним из поводов к этому послужила история, раскрыта в примечаниях Г.С. Каном. Летом 1878 г. подследственные, находившиеся в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, объявили голодовку, добиваясь разрешения «общих прогулок» и общения между собой. Встревоженные родственники дошли до Мезенцова, заявившего одному из них: «Пусть умирают, я приказал заказать гробы!»<sup>14</sup>. Жаль, что историк не уточнил, сколько именно деревянных изделий тогда пригодилось. Но он сообщает, что грозный глава тайной полиции обещал в случае прекращения голодовки перевести недовольных в другие места, после чего почти всех их поместили в Екатерининскую куртину, где всё повторилось. Тогда тюремщики, не беспокоя уже шефа жандармов, избили возобновивших голодовку и посадили их в карцер, чем всё и закончилось (II, с. 338). Характерно, что голодающие, узнав о намерении оставшихся на воле товарищей расправиться с Мезенцовым (какого ещё общения им не хватало при такой циркуляции информации с главной политической тюрьмой империи?), категорически протестовали против задуманного террористического акта (II, с. 163). Но до них уже не было дела. Ведь, как вспоминал Л.Г. Дейч, для С.М. Кравчинского, взявшего на себя исполнение преступления, важно было повторить сделанное ранее Засулич, и «не подвернись генерал Мезенцов, он воспользовался бы другим каким-нибудь лицом и поводом» (II, с. 138)<sup>15</sup>. Собственно первоначально землевольцы собирались убить министра юстиции гр. К.И. Палена, но тот в мае 1878 г. покинул свой пост, и интерес к нему пропал (II, с. 136).

Беспорядки в Трубецком бастионе продолжались и после гибели Мезенцова. Сменивший его Дрентельн в феврале 1879 г. получил жалобу от заключённых, которые, по словам Кана, « крушили в камерах всё, что могли», требуя выдать одному из них табак, и в результате были избиты солдатами. Генерал отреагировал на это вполне логично: «На рожон полезли, на рожон и напоролись; и зачем вы начинали, зная, что сила на нашей стороне, а где сила, там и насилие!». Когда же участники нелегальных сообществ стали указывать ему на незаконность побоев, он с искренним изумлением воскликнул: «Вы попадаете сюда за отрижение всяких законов, а сами требуете, чтобы с вами поступали по закону!». Тогда А.Д. Михайлов решил, что пора стрелять и в него (II, с. 259, 350).

Логика «войны», о которой писал Клеменц, естественно втягивала противоборствующие стороны в борьбу за выживание. А.Д. Михайлов прекрасно

<sup>14</sup> А.Д. Михайлов, главный организатор убийства шефа жандармов, утверждал позднее на следствии, что подобных просителей Мезенцов «встречал чрезвычайно грубо, отцам и матерям в лицо ругая их сыновей» (II, с. 136).

<sup>15</sup> Пикантные подробности этой трагедии приводит, ссылаясь на мемуары Морозова, Пелевин: перед убийством Кравчинский ухаживал за некоей Ф. Личкус, которая будто бы после того, как оно совершилось, «уже не могла более сопротивляться» (II, с. 168). Схожими мотивами руководствовался, как известно, и Л.Ф. Мирский, покушавшийся в марте 1879 г. на нового шефа жандармов А.Р. Дрентельна (II, с. 262, 274–275).

это понимал и не случайно писал на следствии о том, что «социально-революционная партия» переходила к террору «из чувства самосохранения и очень понятного озлобления» (II, с. 258). То же с 1878 г. он внушал землевольцам: «Мы должны отныне вступить с правительством в борьбу, разбираясь в средствах только по указанию самой борьбы. Мы должны прежде всего бороться всеми средствами за наше существование, за существование революционной партии в России» (II, с. 208). Однако более здравомыслящие его товарищи, например, С.С. Синегуб, видели, что вести «террористическую борьбу с такой огромной организованной силой, какой является наше правительство, за которое и темнота народных масс, у которого и миллион солдат... по меньшей мере нерасчётливо» (II, с. 162).

Могли ли революционеры добиться чего-то, кроме гибели, своей «пропагандой», а затем и «дезорганизацией правительства»? В советской историографии неизменно преувеличивались их достижения. Даже Пелевин, убедительно констатировавший полный провал «хождения в народ», в то же время доверчиво повторил выдумку Троицкого, будто именно размах народнического движения заставил Александра II заменить гр. П.А. Шувалова на посту шефа жандармов А.Л. Потаповым. Назначение графа послом в Лондон по времени действительно совпало с разгромом пропагандистских ячеек в Поволжье, а затем и по всей стране. Но эти события никак не были связаны между собой, и весьма осведомлённые сановники объясняли удаление гр. Шувалова чем угодно, только не арестами каких-то агитаторов<sup>16</sup>. Как раз в жандармских способностях графа император не разочаровался, и в 1879 г. приглашал его на совещания, обсуждавшие способы подавления революционной активности (II, с. 265–266). Впрочем, пользы от него там было немного. Не менее странно и описывать «панику», якобы наблюдавшуюся «в административных сферах», опираясь на слухи о ней, ходившие среди подпольщиков, или свидетельства художников, судивших «по признакам, почти не осязаемым» (II, с. 147–152).

Как утверждает Пелевин, в 1878 г. «высокие государственные мужи, которым знать надлежало, понятия не имели о роли, характере и смысле начавшейся вооружённой борьбы, а также о масштабах террористических сил» (II, с. 172). Это отчасти верно, если говорить только о землевольческих кружках, и совсем не так, если иметь в виду террористическую и в целом революционную угрозу. У Александра II имелся успешный опыт борьбы с гораздо более разветвлённой и грозной террористической и повстанческой сетью, действовавшей в Царстве Польском и Западном крае России в начале 1860-х гг. и совершившей покушения как на наместников (включая вел. кн. Константина Николаевича), так и на самого императора. Тот же Ф.Ф. Трепов до выстрела Засулич дважды был тяжело ранен во время покушений польских мятежников, о чём, кстати, Пелевин упоминает, бегло излагая биографию градоначальника. Историк даже признаёт, что Трепов «сыграл ключевую роль в разгроме революционного подполья Польши» (II, с. 14). Между тем его ресурсы, учитывая поддержку эмиграции, магнатов, шляхты, ксёндов, не говоря уже о радикальной молодёжи, были несопоставимы с теми, какими располагала «Земля и воля», гулявшая на деньги Д.А. Лизогуба (I, с. 244). Тем не менее оно потерпело полное и сокрушительное поражение. Это у землевольцев всё было впервые и вновь, а их противники

<sup>16</sup> Подробнее см.: Милютин Д.А. Дневник 1873–1875 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2008. С. 124–132, 291–293.

в правительственные кругах и в консервативной журналистике о многом могли вспомнить, наблюдая за действиями террористов 1870-х гг. Подобные воспоминания, конечно, не особо радовали, но и на панический или трагический лад отнюдь не настраивали.

III отделение Собственной е.и.в. канцелярии к концу 1870-х гг. действительно оставалось патриархальным, малочисленным и обременённым множеством функций учреждением, плохо подготовленным для выявления и разоблачения небольших групп, быстро овладевавших навыками конспирации. Нельзя не согласиться с Пелевиным: «Должностным охранителям ещё предстояло научиться своему ремеслу». Постановка оперативно-розыскной деятельности оставляла желать лучшего, и «своих врагов, злокозненных заговорщиков, сыскари не знали ни в лицо, ни по именам, ни где и как их следует искать» (II, с. 172). Да, убийц Мезенцова «органы государственной безопасности искали, по сути дела, вслепую» (II, с. 171). Но, во-первых, эта слепота продолжалась сравнительно недолго. А во-вторых, даже вслепую они умудрялись наносить «Земле и воле» сокрушительные удары, что уже в октябре 1878 г. привело «к уничтожению руководящего кружка сообщества». А.Д. Михайлову пришлось восстанавливать его заново, почти из ничего, да и он, приехав в Петербург, «тут же угодил в засаду», и лишь по стечению обстоятельств сумел сбежать (II, с. 200–202). Но после этого, при Дрентельне, если верить тому же Михайлову, «открылся период истребления радикалов» (II, с. 258). Даже внедрение в III отделение Н.В. Клеточникова лишь затянуло, но не свернуло этот процесс.

Цитируя П.А. Зайончковского, Пелевин усматривает признаки «кризиса самодержавия, неспособного в данный момент управлять старыми методами», в том, что «императорская власть оказывается неспособной управлять на основе существующих обычных законов» и «возникает потребность в принятии мер, нарушающих эти обычные законы» (II, с. 80). Но это мнение профессора основано на недоразумении (возможно, умышленном). В чрезвычайной ситуации, какой, безусловно, является всплеск терроризма, введение норм, отличающихся от «обычных», не только адекватно, но и совершенно необходимо. Установление же чрезвычайного (надзаконного) положения не только не свидетельствует о «кризисе самодержавия», но, напротив, является наиболее убедительным и существенным выражением обладания полнотой суверенитета.

Никаких «уступок» кому бы то ни было при этом не предполагалось. Любая мера, которая могла бы восприниматься в обществе как проявление слабости, откладывалась как несвоевременная. Со своей стороны, Александр II после гибели Мезенцова упорно искал человека, способного действовать так, как это делал в 1860-е гг. М.Н. Муравьёв. Именно этим объяснялся выбор Дрентельна, командовавшего в 1863 г. войсками в Виленской губ. Когда генерал, никогда не занимавшийся полицейскими делами, попытался отказаться от предложенного поста, царь напомнил ему, «в какой хорошей школе» он был у Муравьёва, который его «ценил и любил» (II, с. 257). Товарищем шефа жандармов тогда же был назначен другой близкий сотрудник Муравьёва (как в Вильне, так и в 1866 г. в Петербурге) — генерал-майор П.А. Черевин, похоже, не ставший главным начальником III отделения Собственной е.и.в. канцелярии лишь из-за болезненного пристрастия к алкоголю.

Не дождавшись от Дрентельна и Черевина быстрого результата, Александр II вновь обратился в конце 1879 г. за советами к Трепову. После взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. именно его все ожидали увидеть во

главе Верховной комиссии с чрезвычайными полномочиями, напоминавшей ту, которой руководил в 1866 г. гр. Муравьёв. Император удивил всех, сделав ставку на гр. М.Т. Лорис-Меликова. Но в тот момент это вовсе не означало поворота к либеральному курсу. За две-три недели Михаил Тариелович при помощи М.С. Каханова подготовил политическую программу, предусматривавшую реорганизацию полиции, бескомпромиссное подавление подполья и развитие преобразований 1860-х гг. Но подать этот доклад, составленный до 26 февраля, он решился лишь 11 апреля, предварительно выстроив доверительные отношения с монархом. Причём, вопреки мнению радикальных публицистов, не либеральная политика проводилась для изоляции и усмирения террористов, а, наоборот, успешные аресты революционеров признавались необходимым условием продолжения реформ. Не случайно новый доклад, намечавший порядок их разработки, гр. Лорис-Меликов подал после того, как почти все ключевые фигуры «Народной воли», а также снабжавший их информацией Клеточников оказались в руках преобразованной полиции. До этого действия заговорщиков не только не способствовали, но препятствовали реализации «либеральной системы», возвращавшей самодержавие к принципам инициативной монархии конца 1850-х — начала 1860-х гг., но не сулившей никаких «конституционных» экспериментов<sup>17</sup>.

Впрочем, способствовать появлению в России представительных учреждений революционные народники действительно могли, причём самым неожиданным и едва ли приятным для них образом. Развязанный ими террор резко усилил позиции П.А. Валуева, убеждавшего Александра II в целесообразности поворота к «реакционной политике» и пересмотря всего, что делалось в пореформенные десятилетия и привело к беспорядкам и убийствам. Одним из инструментов этого курса должно было стать образование при Государственном совете Съезда государственных гласных, избираемого губернскими земствами и представлявшего бы, по замыслу Валуева, «средних землевладельцев». Реальной власти гласным, конечно, никто бы не дал, сил взять её у них бы не было. Но они помогали бы сдерживать либеральную бюрократию, преобладавшую в Государственной канцелярии, и лоббировали бы интересы помещиков и предоставление им большей власти в деревне<sup>18</sup>.

Таким образом, народники, опасавшиеся, что установление в России конституционного строя обернётся засильем «буржуазии», могли столкнуться с куда более суровой реальностью, причём без всякой свободы пропаганды и проч. Возможно, даже «реакция» Александра III, создавшего Крестьянский банк и консервировавшего общину, показалась бы им меньшим злом по сравнению с конституционализмом в валуевском духе. Но их покушения толкали страну именно в эту сторону. В сущности, революционеры пытались влиять на

<sup>17</sup> Подробнее см.: Мамонов А.В. Граф М.Т. Лорис-Меликов и формирование правительственный политики в 1880–1881 гг. // Пётр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 592–607; Мамонов А.В. Представительные учреждения в планах графа М.Т. Лорис-Меликова // Таврические чтения 2023. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция. Сборник научных статей. СПб., 2025. С. 21–29.

<sup>18</sup> См.: Мамонов А.В. П.А. Валуев в «Отголосках» 1879–1880 годов // Историк и Художник. Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского. М., 2014. С. 225–252.

правительственную политику, ничего о ней не зная, ничего в ней не смысля и совершенно не просчитывая последствия своих шагов.

Могли ли народники поступать иначе? Гипотетически — да, если бы сосредоточились, по примеру А.Н. Энгельгардта и др., на изучении не агитационных брошюров, а реального положения русской деревни и промышленности. Власть, пытавшаяся устраниТЬ нараставшие как снежный ком социальные конфликты, испытывала колossalный дефицит людей и знаний для организации переселения крестьян, устройства фабричной инспекции и т.д., и т.п. Однако такой тяжёлый и неблагодарный труд означал бы не борьбу с постылым государством, а поиск путей сотрудничества с его чиновниками, не романтику конспирации, но унылые будни «малых дел» без всякого шанса взяться за «великие». Вот только тогда революционеры перестали бы быть революционерами, даже оставаясь народниками и социалистами. Едва ли от людей, уходивших в 1870-е гг. «в народ» и в подполье, с их темпераментом, образованностью, ценностями, взглядами и самооценкой, можно было ожидать чего-то подобного. Они выбрали свою судьбу, такую, какой она в итоге и оказалась, оставив в наследование потомкам свой, в сущности, печальный, но всё же немаловажный опыт, способный, в случае его осмысления, сформировать иммунитет к революционному инфанилизму.